

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»
(Самарский университет)

А.Н. ОГНЕВ

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЛИНГВИСТИКИ

Часть II. Лингвистические учения XX века

Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебного пособия для аспирантов специальности 45.06.01 Языкознание и литературоведение

САМАРА
Издательство Самарского университета
2017

ВВЕДЕНИЕ

Лингвистические учения XX века возникают в сложном и видоизменяющемся идейном контексте, в котором задействованы как тенденции, релевантные для научного мышления современной эпохи, так и многообразные мировоззренческие факторы. Особую значимость приобретает в этой связи вопрос о методологической автономии лингвистики как науки, способной устанавливать собственную систему теоретических приоритетов. Различные пути решения этого вопроса предопределяют и перспективы гносеологических обобщений, соотнося результаты развития науки о языке с более широким контекстом теоретико-познавательной проблематики.

Анализ гносеологических оснований и методологических приоритетов приобретает особую значимость в связи с кризисными тенденциями, возникающими в лингвистической науке. Они обусловлены как изменением в гносеологическом статусе субъекта, так и влиянием внешних по отношению к лингвистике факторов, связанных с возрастанием междисциплинарных взаимосвязей в современной науке. Вопрос о концептуальном единстве лингвистической теории приобретает в названных обстоятельствах особенную остроту.

Современная лингвистика как никогда нуждается в обосновании категориального синтеза, опирающегося на внятное видение динамики в научном познании и понимание теоретической мотивированности общезначимых тенденций гуманитарного дискурса. Изучение теоретико-познавательных коллизий, определяющих внутренние возможности лингвистической науки и видоизменяющих её методологический базис, составляет важную задачу, от решения которой зависит как научный статус лингвиста, так и характер располагаемых им предметных компетенций.

1. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ АВТОНОМИЯ ЛИНГВИСТИКИ XX ВЕКА

Кризисные тенденции в позитивизме, отразившиеся в полемике эстетических идеалистов и психологистов с младограмматиками, указывают на необходимость поиска баланса между системой и методом в науке о языке. Этот баланс может быть достигнут лишь в том случае, если удастся обосновать гносеологическую автономию лингвистики как науки, избавив её от гетерономии, то есть от проникновения в её методологию чужеродных научных установок, редуцирующих язык к эпифеномену физиологических, психических или социальных процессов. Стремление к обоснованию автономии на гносеологическом уровне выражает степень зрелости лингвистики как науки, способной без посторонней помощи определять собственную систему теоретико-познавательных приоритетов. Автономия в этом смысле вовсе не тождественна теоретической автаркии, предполагающей замыкание на узкий круг собственных заведомо схоластических проблем. Речь идёт не об отказе от междисциплинарной кооперации, а об отказе от бездумного и некритического перенесения в лингвистику установок из других областей знания, упраздняющих специфику науки о языке. Гумбольдтианство превращало язык в метафизический сюжет, натурализм биологизировал сущность языка, младограмматизм историзировал отдельные явления в языке, упуская из внимания характер системных связей между ними, эстетический идеализм возводил акт речепорождения в ранг художественного события, а психологизм требовал понимания языка как субстратного комплекса реактивных ассоциаций. Во всех этих концепциях, принимая во внимание их частные достижения, отсутствовало понимание принципиальной несводимости языка к тем явлениям, о которых на нём можно высказаться, но которые принимаются за его сущность. Вот почему проблема гносеологической автономии лингвистики приобретает такую значимость и остроту.

Свидетельством зрелости науки является также её способность инициировать практическое изменение реальности,

образуя прецедент создания «второй природы», опирающейся на познанные закономерности. Вот почему особый интерес вызывают проекты интернациональных языков, свидетельствующие о том, что лингвистика в качестве науки способна на практике запечатлеть достигнутый уровень своего развития посредством проектов, демонстрирующих универсальную сущность языка в формате оптимизации. В конце XIX века создаются различные проекты интернациональных языков, из которых заслуживают упоминания язык Волапюк Шлейера и язык Эсперанто Л. Заменхофа. При создании проектов интернационального языка возможны две основные методологические позиции: априоризм (предполагающий конструирование языка из заведомо конвенциональных элементов) и апостериоризм (с опорой на такие структуры и элементы в уже существующих языках, которые доказали свою продуктивность). Первые проекты ориентировались на идеал априоризма. К их числу можно, например, отнести замысел о рациональной моноглоттии в универсалистской утопии Я.А. Коменского, где предполагался переход к идеографическому письму. Апостериорный путь не предполагал радикального разрыва с традицией, к которой следовало отнестись избирательно. Шлейеровский Волапюк можно отнести к апостериорным изобретениям, сохранявшим ту же степень сложности, что и языки, на основе которых он возник, правда заимствованные из разных языков корни изменялись в нём до неузнаваемости, что, по сути, лишало сам апостериорный подход всякого смысла. Э. Дрезен следующим образом характеризует итог волапюкистского движения: «С крушением волапюка делу международного языка должен был быть нанесён, казалось, непоправимый удар. Но дело всеобщего языка не умерло. Оно вновь воскресло, правда, после длительной летаргии» [1, с.126]. Только в проекте Л. Заменхофа идея нашла достойное воплощение. Эсперанто опирается на несколько «контрольных языков», из которых взяты самые продуктивные черты и отброшено всё, что составляет в них мёртвый исторический балласт. Эсперанто проще устроен, чем те языки, на которых он основан, но обладает более богатыми выразительными

возможностями, чем национальные языки. Это обстоятельство способствовало развитию не только переводной, но и оригинальной литературы на Эсперанто. Все прочие проекты, многие из которых были задуманы выдающимися лингвистами, так и остались проектами. Секрет успеха Эсперанто в том, что этот язык не противопоставлял себя национальным языкам, а выявлял их продуктивные возможности. Поэтому прав был У. Эко, утверждая: «В любом языке люди могут обнаружить дух, дуновения, аромат и след изначального многоязычия». [11, с.360].

Деятельность по созданию проектов интернациональных языков связана с интуитивным пониманием значимости структуры языка, взятой безотносительно к факторам её исторического становления. Именно этот момент стал определяющим в лингвистической концепции Ф. де Соссюра, снискавшего славу «отца современной лингвистики» и предтечи структурализма». С именем этого великого учёного лингвистика связывает обретения своей гносеологической автономии в качестве самостоятельной науки. Заслуга Ф. де Соссюра состояла в том, что он первым осознал бесперспективность индивидуалистического подхода к языку, который являет себя как социальный факт. Индивид, приспособленный для языковой деятельности, может использовать свои органы только при наличии окружающего его коллектива, к тому же он испытывает потребность использовать их, лишь вступая с ним в отношения. Он полностью зависит от этого коллектива; его расовые признаки не играют никакой роли (разве только в некоторых особенностях произношения). Следовательно, в этом отношении человек становится вполне человеком только посредством того что он заимствует из своего окружения» [6, с.66] Представление о социальном бытовании языка выгодно отличает Соссюра как от младограмматиков с психологической абстракцией говорящего человека, так и от эстетических идеалистов, романтизировавших креативность индивида как автора языковых новаций.

Соссюровский пересмотр гносеологических оснований языкознания предполагает необходимость обоснования автономии лингвистики как науки. Источником гетерономной

фальсификации научных оснований лингвистики является представление о той или иной разновидности субстрата, в качестве модификации которого мыслился язык. Ф. де Соссюр настаивает на том, что язык ни в каком смысле не обнаруживает свойств субстратного плана, а потому он не нуждается в том, чтобы его проблемы обсуждались в режиме субстанциалистского метафизического дискурса. Этот радикальный антисубстанциализм великого швейцарского лингвиста имеет системно-дефензивный смысл: надо защитить лингвистику как молодую науку от редукции её предмета к биологически, психологически или социологически-истолкованному субстрату. Коль скоро само понятие «субстанции» обладает метафизической репутацией, попытка субстанциалистского истолкования языка оказывается контрпродуктивной в научном смысле, так как переводит проблемы языкознания в метафизическую плоскость. Но метафизика в системном смысле себя изжила, она не может иметь научного значения. Поэтому Ф. де Соссюр и сравнивает язык как систему с шахматами: из какого материала сделаны фигуры и каких размеров поле игровой доски – не имеет никакого значения. Важна только система разрешённых по правилам игры ходов. С этих позиций Ф. де Соссюр подчёркивает значение структуры, представленной системой оппозиций. Именно это делает его предтечей структурализма в языкознании. Вопросы субстратного генезиса приравниваются к вопросу о материале, из которого изготовлены шахматные фигуры, который в системном плане иррелевантен. Соссюровский подход предполагает понимание языка как системы, актуальность которой не может быть подвергнута сомнению в фазе непосредственной коммуникации, ибо участникам коммуникативного процесса безразлично, как эта система состоялась в своём собственном качестве. Поэтому вопрос об истории языка следует вынести за пределы компетенции лингвистики как науки: он не имеет отношения к тому, как функционирует язык в акте коммуникации. Из этого вытекают важные методологические и гносеологические следствия.

Если язык надлежит трактовать в структурном ключе как систему оппозиций, то на гносеологическом уровне выстраивается система антиномий: 1) антиномия языка и речи, 2) антиномия означающего и означаемого, 3) антиномия внутренней и внешней истории языка, 4) антиномия диахронии и синхронии в методологическом плане, 5) антиномия говорящего и слушающего. Будучи гносеологическим способом проблематизации со времён критического идеализма, антиномия предполагает трансцендентальную амфиболию понятий рефлексии. Это значит, что на уровне бытия и характеризующих его субстанциальных отношений в принципе нет и не может быть аргументов ни в пользу тезиса, ни в пользу антитезиса антиномии, коль скоро эти антиномии принадлежат мышлению, а не бытию. Следовательно, вопрос о каузальной детерминации между тезисом и антитезисом, допускающей наличие онтологически-обоснованной преференции по отношению к языку, даже не может быть поставлен. Коль скоро знак, образующий базовую абстракцию языка как системы, не имеет природного генезиса, он характеризуется произвольностью, то есть конвенциональностью. Ф. де Соссюр писал: «Принцип произвольности знака никем не оспаривается; но часто гораздо легче открыть истину, чем указать подобающее ей место. Этот принцип подчиняет себе всю лингвистику языка; следствия из него неисчислимы. Правда, не все они обнаруживаются с первого же взгляда с одинаковой очевидностью; их можно открыть только после многих усилий, но именно благодаря открытию этих последствий выясняется первостепенная важность названного принципа» [7, с.70]. За первым принципом произвольности языкового знака в «Курсе общей лингвистики» следует второй – принцип линейного характера означающего, от которого зависит функционирование всего механизма языка. В этой линейной перспективе и происходит развёртывание коммуникативного процесса, который следует трактовать с позиций необратимости. Итак, в процессе коммуникации обнаруживается: 1) актуальность речи и потенциальность языка (заключающего в себе единицы знакового тезауруса), 2) принципиальная несводимость позиционной очевидности

означаемого к факторам генезиса означаемого, 3) различие в мере историзма для интралингвистических и экстралингвистических факторов (сообразно которой системны в языковом смысле только первые), 4) раскрытие системности в эффекте синхронии и 5) различие интересов говорящего (стремящегося к краткости сообщения) и слушающего (требующего развёрнутой экспликации), из которой проистекает соссюрровский закон экономии речевых усилий. Последнее обстоятельство симптоматично: в то же самое время в физике Э. Мах и Р. Авенариус провозглашают принцип «экономии мышления». Оказывается, что соссюрровский антисубстанциализм коррелятивен признанию эмпириокритиков о том, что материя исчезла, оставив после себя одни уравнения. Эта параллель с соссюрвским сравнением языка с шахматами свидетельствует, что лингвистика в теории находится на том же уровне гносеологической автономии, что и физика.

Идеи, аналогичные соссюрвским, высказывает одновременно с ним Я.И. Линцбах в царской России. Но если швейцарский лингвист видит гносеологическую проблему критически, то русский логик более склонен к конструктивному метафизическому догматизму, инспирированному идеалом математизации языка как системы исчислимоостей. Я.И. Линцбах стремится подверстать понятие языка под принцип логического автоматизма. Согласно его воззрениям, язык должен быть подвергнут такой рациональной минимализации, которая бы исключала возможность каких-либо нетитульных узусов. Здесь его мысль переключается с соссюрвским отрицанием синонимии в языке, но степень линцбаховского радикализма выше, поскольку он ставит перед собой утопическую задачу: изгнать из языка все прецеденты полисемии и аннулировать фигуры и тропы. Я.И. Линцбах писал: «Мы отметили, что интуиция только тогда могла бы упразднить мышление, если бы она увеличилась бесконечно. Но очевидно, что такое увеличение не может быть достигнуто никаким воспитанием. Всякое же другое увеличение объёма интуиции, если бы оно вообще было возможно, не достигает цели. А это позволяет нам заключить, что увеличение последнего и нежелательно, что интересам познания, наоборот,

соответствует стремлением к сокращению объёма интуиции. Мы видели, например, что сокращение основания счисления до двух даёт такую систему счёта, при применении которой мышление упрощается до степени совершенно автоматического действия, тогда как увеличение основания счисления, давая сомнительные выгоды, только затрудняет вычисление» [2, с.154]. В этом рассуждении присутствуют те же мотивы, что и у Ф. де Соссюра: бинарность оппозиций, антисубстанциализм и автономизация системы. Важно, однако, принять во внимание, что аксиоматизация, предложенная в «Принципах философского языка», носит подчёркнуто нормативистский характер и предполагает своеобразный логический фетишизм, который плохо вяжется с изучением реально существующих языков. И это не было случайностью: Я.И. Линцбах был активным интерлингвистом и поддерживал радикально-минималистские и претендующие на априоризм интерлингвистические проекты, показавшие свою нежизнеспособность по причине несовместимости ни с интересами говорящего, ни с интересами слушающего, ибо они игнорировали витальность самого носителя языка. «Линцбахизм» получил горячую теоретическую отповедь со стороны П.А. Флоренского, усматривающего в нём жизнеотрицающий пафос антионтологизма: «Задача Линцбаха устанавливается его враждою к историческому. Если язык, в самом деле, рационально придумывается, то по ложному пути идёт современное языкознание, собирающее и изучающее языки существующие, но не сочиняющие своих. Этой алхимии языка Линцбах думает противопоставить химию языка, – «точное языкознание» или как он ещё называет его «математическое языкознание». Последнее призвано не изучать языки, но строить новый язык без словаря и грамматики» [10, с.193]. Из критики П.А. Флоренского в адрес линцбахизма следует, что основная ошибка математизирующего реформатора состоит в том, что он слишком буквально понял тезис о конвенциональности языкового знака, распространив его и на внеязыковую реальность живого носителя языка, проигнорировав принцип функциональности как указание на факт абстрактной связи между жизнью и языком, её отражающим.

В соссюрской концепции были каталогизированы все теоретико-познавательные позиции, значимые для последующего развития лингвистической мысли в XX веке. И всё-таки учение Ф. де Соссюра выглядит скорее как «декларация о намерениях», чем как живая и работающая программа. Косвенным подтверждением тому можно считать и теоретический эксцесс линцбахизма, выявляющий в гротескно-утопическом виде декларативность соссюрской теории. Для Ф. де Соссюра структура остаётся «общим местом», в котором легитимируются формы, лишённые всякого жизненного, то есть субстанциального содержания. Оставаясь замкнутой в рамках гносеологического формализма, соссюрская концепция заключала в себе только протокол допущений, приемлемых с теоретико-познавательной точки зрения, при соблюдении которого лингвистика сохраняла свою методологическую автономию и делала её неприступной для посягательств со стороны учений, ориентированных на натуралистическую редукцию языка к субстрактно-прописанному «природному факту». Но сама по себе гносеологическая автономия ещё не гарантирует науки того развития, на которое она нацелена. Нужно переосмыслить «форму» в качестве фокуса «системы», ибо в новой интеллектуальной ситуации не могло быть и речи о возвращении к компаративистскому примату морфологии. Методологический приоритет синхронии, возмещаемый Ф. де Соссюром, знаменовал закат младограмматической эры доминирования диахронической методологии. Синхрония раскрывает систему в акте её функционирования. Следовательно, абстракцию «формы» следует считать всего лишь плацхальтером в языковой системе, а тем, что делает структурное понимание языка истинным, надлежит считать понятие «функции». Когда этот переход от формы к функции легитимируется, и возникает подлинная лингвистика XX века.

Не будет преувеличением признать, что истинная лингвистика XX века, основы гносеологической автономии которой каталогизировал Ф. де Соссюр, начинается с Пражской школы. Именно пражские лингвисты предложили функциональное понимание языка, распространив его на все

уровни языковой структуры – от фонетики до синтаксиса и эстетики. Пражская школа стала эпохальным событием в истории лингвистики, так как благодаря ей стала возможной дифференциация исследовательских стратегий, опирающаяся на функциональность языковой системы в её коммуникативной актуальности. Пражская школа осуществила переход от гносеологической программы к реальному развитию науки о языке, которое затронуло все области языкознания. В состав Пражского лингвистического кружка входили не только лингвисты, но также и литературоведы и эстетики, объединённые интересом к общесемиотической проблематике. Наряду с чешскими учёными в деятельность этого направления внесли и русские эмигранты. Пражская школа явила высокий образец международного сотрудничества учёных, осуществляемого не на основе предвзятой догматики, а исходя из свободного критического отношения к изжитой научной традиции XIX века.

Признанным главой пражского направления был В. Матезиус, основные интересы которого были сосредоточены в области теории функционального синтаксиса. Он и его коллеги (к числу которых принадлежали Хавранек, Дворжак, Бенеш, Данеш, Вахек, Скаличка и Трнка) внесли решающий вклад в создание теории актуального членения высказывания, позволяющей разграничить на понятийном уровне структуры логического и коммуникативного синтаксиса. В. Матезиус писал: «Чтобы понять, что говорящий хочет выразить в своём предложении, мы должны ясно различать то, о чём он говорит, и то, что он об этом говорит. Тем самым определяются основные части предложения с точки зрения его смысловой структуры. Предложение как выражение актуального отношения к факту действительности является высказыванием, и потому мы называем то, о чём в предложении что-то говорится, основой высказывания, а то, что он об этом говорит, ядром высказывания. Основа высказывания может совпадать с грамматическим подлежащим, а ядро высказывания – с грамматическим сказуемым, но это не обязательно» [3, с.94]. Так В. Матезиус задаёт базовую оппозицию теории актуального членения – оппозицию «темы» и «ремы», реализуемую в функциональной перспективе. Пражская

лингвистика различает логическую и коммуникативную сторону высказывания, актуальный и потенциальный синтаксис, а также типологический и сопоставительный подходы, которые до обоснования гносеологической автономии лингвистики как науки далеко не всегда чётко различались. Как справедливо замечает В. Скаличка, ответ на вопрос об их различии далеко не однозначен: «Если типология в борьбе отстаивает свой метод, то сопоставительная лингвистика пока его только ищет. И всё-таки можно сказать, что типология должна с благодарностью принимать факты, добытые при сопоставительном изучении языков, она может по достоинству оценивать и классифицировать их. Сопоставительная лингвистика может взять на вооружение опыт типологии в том, как объяснять языковые явления в их взаимосвязности» [5, с.31]. Эти рассуждения во многом проливают свет на комплекс прикладных интересов, гносеологически-легитимированных в научной программе Пражской школы.

К числу непреходящих по своей научной значимости достижений Пражской школы принадлежит концепция общей фонологии, разработанная князем Н.С. Трубецким. Её появление знаменовало собой окончательный закат младограмматической фонетики, призванной гарантировать позитивистскую научность в языкознании. Фонология относится к фонетике так, как критика политической экономии к нумизматике. Согласно Н.С. Трубецкому, фонология базируется на системе оппозиций, актуализирующих смыслоразличительную функцию. В этом состоит коренное отличие фонологии от прежней «инструментальной» фонетики. Ключевую роль в общей фонологии играет системообразующее различие а) привативных, б) градуальных и с) эквиолентных оппозиций. Н.С. Трубецкой, ориентируясь на критериальное значение смыслоразличительной функции фонемы, писал: «определение то или иной фонологической оппозиции как эквиолентной, градуальной или привативной зависит от избранной нами точки зрения. Не следует, однако, думать, что такое определение является чисто субъективным и произвольным. Сама структура и функционирование фонологической системы определяют в

большинстве случаев совершенно однозначную и объективную квалификацию любой оппозиции» [9, с.81]. В дальнейшем это представление продемонстрировало свою теоретическую продуктивность и в режиме методологической экстраполяции при подходе к проблеме единиц языковой идентичности: «часто возможны споры о том, является ли данная единица деления языком или наречием, а также споры о том, к какому из двух соседних родственных языков относится данная группа пограничных, переходных говоров, причём одними средствами лингвистической науки эти споры большего частью разрешены быть не могут» [8, с.332]. Н.С. Трубецкой обнаружил, тем самым, наличие мировоззренчески-внеаучного фактора в метафизической псевдопроблеме «праязыка», занимавшей ум представителей натуралистического языкознания в XIX столетии. Фонологическая концепция Н.С. Трубецкого стала своеобразной моделью функционирующей лингвистической программы, которая автоматически исключает из научного контекста внеаучные, метафизические и идеологические проблематизации. В этом её значение не только для лингвистики, но и для гуманитарного знания в широком смысле слова.

Ярким подтверждением общеметодологической значимости достижений Пражской школы, трактующей понятие «функции» в качестве фокуса концептуального обобщения, можно считать семиотическую концепцию Я. Мукаржовского, оказавшую значительное влияние на развитие эстетических теорий XX века. (Ему принадлежит также постановка вопроса о статусе кинематографии в системе искусств, решаемого с позиций функционального подхода). Исходя из общегносеологического принципа дистинктивности категориальных оппозиций, Я. Мукаржовский учит: «самопроявляться по отношению к действительности человек может двумя принципиальными путями и третьего пути нет. Другими словами, что принципиально функции делятся на непосредственные и знаковые. Существует ли необходимость в дальнейшем расчленении этих двух групп? Существует, ибо она диктуется наличием пары «субъект» – «объект»: от субъекта самопроявление исходит, к объекту – направлено. Если мы

применим это двойственное различие к группе непосредственных функций, то обнаружатся подгруппы практического и теоретического самопроявления. В практических функциях на первом плане объект, поскольку самопроявление субъекта направлено здесь на преобразование объекта, то есть действительности. В теоретической, напротив, на первый план выступает субъект» [4, с.153]. Функциональные дистинкции Пражской школы у Я. Мукаржовского, будучи сфокусированными вокруг понятия «самопроявления», подчёркивают решающую значимость той автономии, которая в сосюрговской концепции мыслилась как теоретическая задача, а у прагцев стала локусом предметной конкретизации научной программы. Слово сконцентрировалось в своей функции, и применительно к нему оказалось справедливым признание другого представителя пражской лингвистики – Р. Якобсона: «это существенное понятие, которое нельзя ни отбросить, ни рассматривать как целую грамматическую единицу вместо морфемы» [12, с.77]. В этой констатации обнаруживается уровень теоретического понимания автономии лингвистики как науки, релевантный для развития языкознания в XX веке.

Список использованной литературы

1. Дрезен Э. За всеобщим языком. Три века исканий. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 272с.
2. Линцбах Я.И. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. – М.: Либроком, 2009. – 248с.
3. Матезиус В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 232с.
4. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. – М.: Искусство, 1994. – 606с.
5. Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XXV. Контрастивная лингвистика. – М.: Прогресс, 1989. – 440с.
6. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике. – М.: Прогресс, 2001. – 280с.
7. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1999. – 432с.

8. Трубецкой Н.С. История. Культура. Язык. – М.: Прогресс, 1995. – 800с.
9. Трубецкой Н.С. Основы фонологии. – М.: АспектПресс, 2000. – 352с.
10. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Том 2. – М.: Правда, 1990. – 448с.
11. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. – СПб.: Александрия, 2007. – 423с.
12. Якобсон Р. Язык и бессознательное. – М.: Гнозис, 1996. – 248с.

2. ДОМИНАНТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ

После обоснования гносеологической автономии лингвистики в XX веке можно было ожидать предсказуемого развития науки о языке на основе структуралистской антитетики базовых оппозиций и функционалистского понимания разрешимости этой антитетики применительно к частным предметным проблемам языкознания. Соссюровская концепция предлагала гносеологически-продуманную программу, пражская теория функциональной лингвистики позволяла выработать конструктивные в научном отношении решения. Следует, однако, принять во внимание то обстоятельство, что теоретические декларации и их воплощение в материале зачастую разительно различаются. Принятие соссюровской догмы о потенциальности языка и актуальности речи, вполне объяснимой в качестве полемиического заострения в дискуссии с адептами младограмматизма, привело к абсолютизации плана выражения и к возникновению структуралистского направления в языкознании. Сильной стороной здесь можно считать отказ от метафизических домыслов и стремление лингвистики опираться на собственные силы, что позволяет достичь впечатляющих результатов применительно к частным проблемам, а слабой – отсутствие теоретического видения сущности языка в содержательном смысле. Концепции, ориентированные на план выражения, обладают особой притягательностью для учёных, заинтересованных в получении внятных операционально-транслируемых моделей, вписывающихся в контекст существующей научной рациональности. Именно поэтому структуралистские доктрины доминируют в лингвистике XX века, предлагая простые решения, не требующие обращения к метафизическим обобщениям. Это обстоятельство делает их притягательными для большинства учёных, заинтересованных в достижении конечного предметного результата, трактуемого в позитивистском ключе. Мировоззренческая сторона

структурализмом при этом не затрагивается. Вот почему план выражения доминирует в лингвистике XX века.

Замечательным образом концептуального решения, ориентированного на план выражения, можно считать «Основы общей лингвистики» А. Мартине. Принимая функциональную точку зрения, великий французский лингвист исходит из того, что отправной точкой лингвистического дискурса служит момент, когда из континуального массива физиологических явлений обособляются такие, которые потенциально заключают в себе набор элементов, достаточных для осуществления коммуникации. Этот набор элементов предполагает некую апостериорную преднамеренность, позволяющую активизировать позицию партнёра по коммуникативному акту.

А. Мартине настаивает на том, «в лингвистическом отношении единственно существенными являются те элементы речевой цепи, наличие которых не определяется автоматически контекстом, благодаря чему они и выступают в информативной функции. Данный элемент высказывания изучается лингвистикой лишь в том случае, если он наделён определённой функцией, и ... именно благодаря природе этой функции данный элемент занимает соответствующее ему место среди других сохраняемых памятью элементов» [6, с.53]. А. Мартине подвергает ревизии жесткий сосюрровский антидиахронизм и ставит вопрос если не об эволюции самого языка, то об эволюционных тенденциях, замеченных в языке. При этом он декларативно следует сосюрговскому разграничению «внутренней» и «внешней» истории языка, различая изменения социальные, лишь отражаемые языком, и изменения, вытекающие из факторов его имманентной системной динамики. А. Мартине исходит из принципа экономии в языке, сводя его к догматике «наименьшего усилия», из которой вытекают как экономия на парадигматическом, так и экономия на синтагматическом уровнях, признавая, однако наличие феномена «избыточности», который не укладывается в изначальную систему, но воспроизводит навязанные ему законы. Критерий «частотности», устанавливаемый А. Мартине, предполагает вопрос о системной «стоимости» выражения и не допускает иного режима

обсуждения, кроме как в акте сравнения вероятностных моделей. Признание доминирующей роли языковых фактов и постановка вопроса об эффективности контекста не меняют существа дела: явочным порядком допускается отход от достоверной аксиоматики языковой структуры и перевод лингвистического исследования в проблемную плоскость допустимых по контекстуальным показателям вероятностных решений. В сущности, концепция А. Мартине таит в себе латентный ревизионизм исходных постулатов структуралистской теории.

Соссюровское учение исходит из признания актуальности речи и потенциальности языка, и ни одна из структуралистских концепций не может открыто подвергнуть сомнению этот подход, без которого сама «структура» не может вступить в фазу теоретико-познавательной аксиоматизации. Тем не менее, «актуальность» требует учёта динамических факторов, находящихся вне поля понятийного опосредствования теорий, ориентированных на позитивистский идеал научности, исповедующих «культ факта». Вот почему в рамках структурализма намечается интерес к некоторым доктринам посткритического иррационализма, позволяющим увидеть проблему «витальности» применительно к синхронической перспективе лингвистического исследования. Апелляция некоторых структуралистов к идейному наследию «философии жизни» глубоко симптоматична. Так, например, Ш. Балли признаёт: «Разум, оказываясь на службе у жизни, поглощает нашу логику строгих геометрических форм и превосходит её: разум играет с ней, но никогда не покоряется ей: речь это прекрасно демонстрирует. Невольно вспоминается бергсоновское понятие интуиции, и речь, в её связях с жизнью, похоже, подтверждает правоту Бергсона, утверждающего, что «жизнь во всех отношениях многообразнее разума» и что «наша наука характеризуется естественным непониманием жизни. Во всяком случае, представляется, что разум, одушевляющий речь, по природе такой же, как и разум, управляющий явлениями жизни, но по сути своей отличный от логической рациональности» [1, с.37]. В итоге Ш. Балли признаёт бессознательность и коллективность разума в качестве его базовых свойств,

воспроизводимых языком на его собственном системном уровне. Функционирование языка, таким образом, определяется витально на бессознательном уровне ассоциативных автоматизмов. Операции же языкового плана требуют наличия коллективной разумной инстанции, определяемой посредством апелляции к принятому консенсусу всех участников языковой общности. Альянс Ш. Балли с посткритическим иррационализмом «философии жизни» наглядно демонстрирует неуверенность приверженцев плана выражения в наличии в арсенале структуралистской аксиоматики потенциала, позволяющего представить завершённую картину языка в синхронии, которая анонсировалась в качестве приоритетной научной задачи данного направления.

Тенденция, намеченная у Ш. Балли, в целом характерна для лингвистов Женевской школы. Так, в частности, А. Сеше настаивает на том, что между логическими функциями единиц языка и титульным грамматическим выражением должен существовать посредник, в роли которого выступает человеческое воображение. Эта мысль, отсылающая лингвистическое исследование в размерность антропологических измерений, сама по себе не вызывает возражений. Проблема в том, что она не может быть легитимирована в контексте аксиоматики структурализма в том его понимании, которое ретроспективно приписывалось Ф. де Соссюру. Будучи понятой напрямую, эта мысль требует не просто ревизии некоторых важных позитивистских постулатов, исходя из идей «философии жизни» (как то имело место в концепции Ш. Балли), а предполагает теоретический реванш психологизма, который может привести к реставрации субстратной гипотезы применительно к сущности языка. Поэтому А. Сеше вводит её через понятие «субъекта», общее для лингвистики и психологии: «Нигде соответствие между одним из фундаментальных элементов предложения и одной из категорий воображения не проявляется столь отчётливо, как у субъекта. Самостоятельный субъект, служащий точкой опоры высказывания, должен быть той же природы, что и обстоятельство, которое он замещает. Подобно обстоятельству, субъект должен представлять данную

реальность, нечто помещённое в мышлении, чтобы закрепить там некоторые понятия, но однако существующее само по себе, вне всякой связи с другими понятиями» [7, с.49]. А. Сеше намеренно не замечает, что этот ход мысли реставрирует не только эссенциалистский постулат, прокладывающий дорогу в суверенное поле лингвистического исследования всевозможным метафизическим гипотезам, но и ставит под сомнение априорность логического аспекта структуры языка, беззастенчиво её психологизируя. Психология есть наука эмпирическая, имеющая в виду признаки субъекта, обнаруживающиеся в его реальном существовании, тогда как логика есть нормативная дисциплина, имеющая дело не с сущим, а с должным. Пожелание психологизировать структуру предложения гносеологически равнозначно попытке эмпирического обоснования металогических законов тождества, противоречия и исключённого третьего. В этом случае само представление о достоверных структурах языковой аксиоматики оказывается фронтально фальсифицируемым. А разговор о логической структуре предложения переносится в плоскость вырожденного дискурса. Вот почему своё теоретическое ренегатство А. Сеше маскирует критикой экспериментальной психологии В. Вундта. Создаётся впечатление, что опасность утраты гносеологической автономии лингвистики существует лишь со стороны вундтовского психологизма (на тот момент уже отвергнутого самой психологией как динамично развивающейся эмпирической наукой), тогда как новейшие разновидности психологизма такой опасности якобы в себе не заключают. Всё это, конечно же, теоретический самообман. А. Сеше пытается камуфлировать сдачу ключевых методологических позиций психологистам (идушим за Вундтом) при помощи софистической риторики: «Грамматисты должны показать, с помощью каких сложных комбинаций знаков в рамках определённых законов нам удаётся выразить свои мысли. Эта задача мало интересует психолога, он надеется хотя бы временно от неё избавиться» [8, с.51]. А. Сеше допускает в дальнейшем 1) включение эволюционных, то есть диахронических дисциплин в статические, основанные на примате диахронии, 2) включение фонологии в статическую

морфологию, а также 3) включение фонетики в эволюционную морфологию. В сущности, это означает сдачу всех методологически-значимых позиций Ф. де Соссюра, обеспечивающих гносеологическую автономию лингвистики как науки.

Дальнейшее приспособление структуралистской программы к «веяниям времени» наблюдается в концепции Э. Бенвениста, который позиционировал свою теорию как прецедент продуктивной нейтрализации теоретического антагонизма структурализма и «традиционализма» (под которым понимались установки классического языкознания XIX века, исходившие из методологической приоритетности диахронии). Э. Бенвенист предлагает компромисс, затрагивающий уже само системной ядро соссюровской программы гносеологической автономии лингвистики. Э. Бенвенист полагает, что следует уточнить понятие конвенциональности языкового знака, что на деле означает ревизию учения о его произвольности. Методологический оппортунизм приводит его к прямому ревизионизму: в рамках бенвенистовской концепции наблюдается отказ от соссюровской «шахматной модели», то есть происходит пересмотр аксиоматики соссюровского антисубстанциализма. Обращаясь к оппозиции означающего и означаемого, Бенвенист покушается на системное средоточие соссюровской программы, говоря о знаке как о прецеденте совмещённой субстанциальности означающего и означаемого, гарантирующей структурное единство знака. Бенвенистовская аргументация включает в себя и представление о языке как о категориальной элонгатуре знака. Эта мысль призвана подготовить полное переосмысление соссюровского представления о конвенциональности под предлогом его теоретической защиты. Э. Бенвенист утверждает: «Произвольность заключается в том, что какой-то один знак, а не какой-то другой прилагается к данному, а к другому элементу реального мира. В этом, и только в этом смысле, допустимо говорить о случайности, и то, скорее, пожалуй, не для того, чтобы решить проблему, а не для того, чтобы наметить её и временно обойти» [2, с.93]. По мнению Э. Бенвениста, речь идёт о

стародавней метафизической проблеме существования языка «от природы» или «по установлению», поставленной ещё платоновским Сократом в диалоге «Кратил». Следовательно, сама идея гносеологической автономии лингвистически, как она обосновывалась Ф. де Соссюром, есть всего лишь приём ухода от метафизического вопрошания, некий троп замалчивания, возводимый в ранг методологии. В сущности, лингвистике следует вернуться к метафизическому рабству, дабы вкушать райские плоды своего «естественного состояния». Э. Бенвенист намекает на возможность такой теоретической регрессии, утверждая, что точка зрения говорящего отличается от позиции лингвиста, и что вся лингвистическая аргументация не в состоянии поколебать уверенности говорящего в том, что знак выражает нечто сущностное, относящееся к природе вещей. Итог этого пути по Бенвенисту таков: «Сфера произвольного, таким образом, выносится за пределы языкового знака» [2, с.93]. Э. Бенвенист полагает, что подчинить задачи лингвистической науки метафизической псевдопроблеме – значит воздать должное основоположнику структурализма. Он говорит: «мы, уже после Соссюра, утверждаем строгость соссюровской мысли» [2, с.96]. Воистину, история науки в целом, не говоря уж об истории языкознания, не знала столь циничного прецедента теоретического ренегатства, обесценивающего саму перспективу гносеологического примата плана выражения.

Наряду с оппортунистическими тенденциями Женевской школы и её концептуальных реципиентов, явочным порядком отказывающихся от принципа гносеологической автономии, обоснованной Ф. де Соссюром, существует и противоположная тенденция, радикализирующая заложенный им антисубстанциализм. Она представлена, преимущественно, «глоссематикой» датского структурализма. Главой этого направления был Л. Ельмелев, к которому примыкали О. Есперсен, В. Брёндаль и Х. Ульдалль. Приверженцы этого направления исходили в теории из аналитического прочтения логического позитивизма, что потребовало от них жестко инструментализма в понимании языка и операционалистского понимания задач самой науки о языке, мыслимой исключительно

на началах математической формализации. В сосюрговской программе Л. Ельмелев видит в языке три аспекта: 1) схему формализации, индифферентную к своему материальному носителю и предметным проекциям, 2) норму, определяемую посредством социальной конвенции, и 3) узус как комплекс коллективных навыков, обнаруживающихся в социуме. Ориентация на логический позитивизм и некоторые идеи феноменологии Э. Гуссерля приводит Л. Ельмелева к методологической фетишизации аналитических процедур. В «Пролегоменах к теории языка» у него это выражено особенно ясно: «Особый фактор, характеризующий зависимость между целым и его частями, который отличает такую зависимость от зависимости между одним целым и другими целыми и позволяет рассматривать полученные части (объекты) в качестве лежащих внутри, а не вне целого (текста), этот особый фактор заключается, по-видимому, в единообразии зависимостей: соотносимые части, вытекающие из индивидуального анализа целого, взаимно-единообразно зависят от этого целого. Эту черту единообразия мы вновь найдём в зависимости между называемыми чертами» [4, с.53].

Исходя из такого видения, глоссематика усматривает ключевую задачу лингвистики в «катализе» текста, предполагающем доведение высказываний до их нормальной длины, игнорируя коммуникативные показания к редукции потенциально-избыточных функций. Так возникает прецедент вторичного, логически-мотивированного нормативизма. Датские структуралисты, будучи нормативистами от логики, требуют пуристического исключения из лингвистики как науки фонетики и истории языка, поскольку последние дисциплины имеют несистематизируемое содержание. Глоссематика различает три вида языковых функций: 1) детерминацию, 2) интердепенденцию и констелляцию. Эти функции упорядочивают отношения между плеремами (семантически-значимыми единицами) и кенемами (пустыми указаниями). Язык сводится к алгебре логики, вычленяющей по ним названные единицы. Такой подход привёл к отказу от принятой лингвистической терминологии, который О. Есперсен объясняет следующим образом: «Традиционные

термины часто сковывают мышление исследователей и могут стать препятствием для плодотворных изысканий... в области грамматики терминологические затруднения усугубляются тем, что многие термины восходят к донаучному времени, а многие употребляются и за пределами грамматики часто в значениях, мало похожих или совсем не похожих на технические значения, которые придаются им в грамматике; наконец, один и тот же комплект терминов применяется к языкам различного строя» [5, с.393]. Правда, датских структуралистов никоим образом не смущали реминисценции «плеремы» и «кенемы» с гностическими мифологемами, едва ли имевшими рациональный формализуемый смысл.

Радикальная абсолютизация плана выражения становится программным требованием и в американской дескриптивной лингвистике, изначально опиравшейся не на сосюрровские декларации, а на принципы бихевиоризма, то есть поведенческой психологии, что свидетельствует о том, что для дескриптивизма проблема гносеологической автономии лингвистики представляется irrelevantной. У истоков дескриптивизма стоял Ф. Боас. Этот лингвист и антрополог занимался изучением языков американских индейцев. Он обнаружил, что традиционные европейские классификации оказываются неприменимыми по отношению к индейским языкам. Ф. Боас выявил, что в индейских языках граница между понятиями «слова» и «предложения» требует иных критериев, нежели в европейских языках. Исследования Ф. Боаса дали теоретический стимул деятельности Л. Блумфилда, ставшего создателем дескриптивистской теории, построенной на принципах «физикализма», трактуемого механистически. Коммуникация сводится к обмену стимулами и реакциями. Слово в режиме рецепции выступает как «замещённый стимул», а ответ позиционируется посредником между нервными системами коммуникантов. Поэтому фонемы вызывают у дескриптивистов научный интерес лишь в той мере, в какой они обладают смыслоразличительной функцией. Языковые формы мыслятся как сигнальные комплексы, обладающие разными уровнями связности. Задача лингвистики состоит в описании

задействованных компонентов высказывания, в классификации форм и в определении параметрических особенностей конструкций. Компоненты делятся на две группы: из непосредственных составляющих образуются высказывания, а из конечных составляющих (морфем) образуются непосредственные. Дескриптивистами было введено понятие субститута, замещающего множество форм определённого класса, что позволило различать эндоцентрические и экзоцентрические конструкции на основании критерия связности форм.

Дальнейшее «развитие» дескриптивизма приводит к возникновению дистрибутивной лингвистики, представленной такими лингвистами, как Б. Блок, Е. Найда, Дж. Трейджер, З. Харрис и Ч. Хоккет. Дистрибутивное направление анализирует связь элемента с окружением, стремясь реконструировать сумму всех окружений элемента. Этот подход возник из практик дешифровки, основанных на сегментации сообщения. В итоге дистрибутивисты выявили: 1) дополнительные дистрибуции у аллофонов (никогда не встречаются в тех же окружениях и обладают смыслоразличительной функцией) и 3) свободно-чередующиеся (обладают функциональным тождеством). Понятие морфемы обнаружило отношение между инвариантной «морфой» и её вариантами-алломорфами. В этом пункте дистрибутивисты в своём понимании морфемы сблизилась с понятием «семы» в том смысле, в каком его понимал В. Скаличка из Пражской школы. Стало возможным квалифицировать в качестве одной морфемы элементы, объемлемые одинаковой функцией в грамматической системе, что требовало абстрагирования от характера сходств на уровне означающего. Морфема была понята как чисто функциональная единица.

На основе дескриптивизма и дистрибутивизма выработался трансформационный метод Н. Хомского, ставший венцом теоретических симплификаций плана выражения. Он нашёл своё завершение в концепции генеративной грамматики. Н. Хомский пришёл к нему, обнаружив дефицитарность анализа непосредственных составляющих у З. Харриса. Она состояла в том, что от внимания аналитика ускользала семантико-

синтаксическая омонимия. Так, например, в рамках критериев дистрибутивизма невозможно различить субъектные и объектные функционалы генитива. Н. Хомский разработал трансформационный метод, призванный элиминировать этот и подобные ему казусы аналитической недифференцируемости. Согласно Н. Хомскому, надлежит различать ядерные и производные системы, возникающие из комбинаций ядерных типов. Генеративная грамматика призвана, таким образом, реконструировать реляционный каркас языка. Н. Хомский приходит к парадоксальным выводам: «Использование языка для коммуникации может оказаться чем-то вроде эпифеномена. В том смысле, что система как-то развилась, уж как она там развилась, этого мы на самом деле не знаем. А далее мы можем спросить: как люди ею пользуются? Может статься, она не оптимальна для некоторых из способов, которыми мы хотим ею пользоваться. Если вы хотите исключить взаимное непонимание, то конструкция языка для этой цели неудачна, поскольку существуют такие свойства, как неоднозначность. Если вы хотите, чтобы было такое свойство, чтобы то, что нам обычно нужно сказать, выходило коротко и просто, ну что тут скажешь, наверное, в языке просто нет такого свойства. Многие из того, что нам нужно сказать, бывает очень трудно выразить, может даже и невозможно различить» [9, с.157]. Признание Н. Хомского включает в себе констатацию теоретического краха, к которому пришли доктрины, ориентирующиеся на план выражения. Такова судьба концепций, ориентированных на обслуживание идеологом леворадикального дискурса.

Развитие радикальных доктрин плана выражения привело лингвистику к глубокой теоретической стагнации и к утрате гносеологической автономии. Подтверждением тому стало построение типологии языковых универсалий с опорой на антропологию. Так, например, Дж. Гринберг признаёт, «что существует достаточно оснований для признания имплицативных универсалий достоверными обобщениями о языке» [3, с.152]. Следует, однако, отметить, тот факт, что описательность концепций плана выражения, будучи проявлением аналитической установки, не может служить приращению определённости

собственно лингвистического знания, коль скоро такой аргумент требовал бы категориального синтеза, имеющего содержательный эквивалент. Всё чаще сами адепты плана выражения сетуют на отсутствие объяснительной силы в концепциях, дающих внятные описательные эффекты. Доминирование теорий, ориентированных на план выражения, дало частные предметные результаты, растворив специфику лингвистической мысли в титульных абстракциях гетерономных моделей.

Список использованной литературы

1. Балли Ш. Язык и жизнь. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 232с.
2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448с.
3. Гринберг Дж. Антропологическая лингвистика. Вводный курс. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 224с.
4. Ельмслев Л. Прологоменты к теории языка. – М.: КомКнига, 2006. – 248с.
5. Есперсен О. Философия грамматики. – М.: Инлитиздат, 1958. – 404с.
6. Мартине А. Основы общей лингвистики. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 224с.
7. Сеше А. Очерк логической структуры предложения. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 224с.
8. Сеше А. Программа метода теоретической лингвистики. Психология языка. – М.: Едиториал УРСС. – 264с.
9. Хомский Н. О природе языка. С очерком «Секулярное священство и опасности, которые таит демократия». – М.: КомКнига, 2005. – 228с.

3. РЕЦЕССИВНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ

В лингвистике XX века наряду с доминантной тенденцией, ориентированной на план выражения, существует и иная, ориентированная на примат плана содержания. Эти теории оппонируют друг другу по всем принципиальным гносеологическим вопросам, что, однако, не исключает частных ситуативных консенсусов по поводу эмпирических предметных коллизий. Концепции плана содержания переживают состояние теоретической рецессии, будучи рассчитанными на всестороннее понимание языка и глубокое проникновение в его сущность, что делает для их приверженцев неприемлемой ориентацию на операционализм и плебисцитарный идеал истины в научном познании, характерные для их идейных оппонентов. Суть разногласий адептов плана содержания с господствующим идейным умонастроением в том, что для них неприемлемо сосюроевское представление об актуальности речи и потенциальности языка, а равным образом и его воинствующий антисубстанциализм, основанный на «шахматной модели». Приверженцы плана содержания предпочитают исходить из актуальности языка, который по факту всегда уже априорно существует на момент коммуникативной ситуации, понимая при этом речь как потенциально-открытый процесс, в котором наблюдаются вариативные эффекты в границах инвариантных возможностей, заданных языком. Приверженцы плана содержания гораздо более, нежели их оппоненты, относятся к диахронической методологии, понимая, что языка не может быть без его истории. Именно поэтому в адрес концепций, ориентированных на план содержания, звучат инвективы, суть которых состоит в обвинениях в консерватизме, национализме и метафизических рецидивах. Им инкриминируется также пренебрежение принципом системности и ставится в вину неприятие идеала математизации в лингвистическом исследовании. Зачастую звучат обвинения в «мистицизме», в претензиях на элитарность и в умозрительности приводимой аргументации.

Наиболее яркий образец теорий, ориентированных на план содержания, даёт «ономатодоксия», возникшая в русле традиции русской религиозной философии, для которой характерны неприятие гносеологической постановки вопроса применительно к языку в целом и принципиальный онтологизм спиритуалистического типа. «Философия Имени» имела вполне религиозный генезис, связанный с теологическими дискуссиями начала XX века, а потому изначально она не была ориентирована на решение практических задач языкознания. Существо же дискуссии сводилось к вопросу о почитании Имени Божьего. В русских реакционных клерикальных кругах наметился раскол между «имяславцами» (настаивавшими на онтологизации Имени божьего) и «имяборцами» (отрицавшими его онтологический статус). Эта поначалу чисто богословская дискуссия является аналогом спора иконодулов и иконоклавов в Византии. Победа иконопочитателей во главе с Михаилом Копронимом над иконоборцами, следовавшими линии Льва Исавра, догматически закрепила онтологизм в понимании образа. Было вполне логичным, что русские ономатодоксы стремились провести этот догматический принцип и применительно к решению вопроса о почитании Имени Божьего. Потерпев поражение на административном поле, где имяборцы получили синодальную поддержку, имяславцы углубились в проблематику языка, отстаивая его онтологическое понимание. Результатом этих противоречивых процессов и стала русская «ономатодоксия», вступившая в догматический альянс с софиологической традицией, у истоков которой стоял В.С. Соловьёв. Именно заигрывание с софиологией, во многом инфицированной гностическими интенциями, сделало «философию Имени» неприемлемой для православного богословского мейнстрима того времени, но в перспективе в имяславских доводах всё большее место стала занимать аргументация, стилизованная под христианизированный платонизм. В дальнейшем обоснование ономатодоксии перейдёт в спекулятивно-диалектическую плоскость и внешне примет даже вполне секулярный вид.

У истоков онтологического понимания имени, а следовательно, и языка, стоял П.А. Флоренский. Его понимание

онтологизма, основанного на православном энергетизме, восходящим к молитвенным практикам исихазма. Различая вслед за В. Фон Гумбольдтом внешнюю и внутреннюю форму слова, П.А. Флоренский уподобляет внешнюю форму телесному организму, а внутреннюю – душе, которая из внешней не выводится, а органически порождается стихией духовной жизни. Эти воззрения оказываются весьма близкими учениям русских символистов. П.А. Флоренский неоднократно настаивал не только на символической магичности слова (предаваясь откровенным ономатическим суевериям на предмет способности личного имени детерминировать характер и судьбу человека), но и на необходимости органического понимания языка: «Не случайно слово организм сорвалось с моих уст. Признание или непризнание реальности слова, в конечном счёте, в обостренности обстановки, ведёт прямо вплотную к вопросу, есть ли слово – организм, ибо в противном случае, если бы мы не признавали его таковым, то есть не усмотрели в нём целостности, мы вынуждены были бы признать его внешним соединением энергий, а потому – случайным и лишённым какой-либо устойчивости. Ставимый вопрос о слове как организме имеет свою длинную историю ещё в древности и был предметом оживлённых обсуждений, и именно с термином «телесности». Телесен ли голос, телесно ли слово? – спрашивали древние, желая этим сказать по-нашему, имеется ли у слова тело, то есть составляет ли слово нечто устойчивое в мире, или нет» [7, с.259]. Органицистский подход гениального русского учёного, философа и служителя культа радикально противостоит тезису о конвенциональности языкового знака и антисубстанциалистскому соссюрровскому пониманию языка, на котором приверженцы плана выражения пытались обосновать гносеологическую автономию собственных концепций. Для П.А. Флоренского само понятие автономии тождественно отпадению от Бога, от богоданной природы и промыслительного замысла Творца о спасении человека. Поэтому П.А. Флоренский подвергает разоблачительной критике два вида «ересей» в понимании языка – формалистический линцбахизм и варварскую архаику «самовитого слова», насаждаемую футуристами. Для

него это – две стороны духовной апостасии, то есть отступничества от Бога. К числу достоинств концепции П.А. Флоренского можно отнести содержательный анализ гносеологического смысла антиномий В. фон Гумбольдта, развитую теорию символа, глубокое понимание этимологии, диалектическое учение о термине и концепцию соотношения нормы и узуса в научном и философском дискурсе. Тем не менее, едва ли можно принять рецидивы магизма и эксцессы ономастологических суеверий, вытекающие из его догматизации Имени.

Концепция С.Н. Булгакова, на первый взгляд, выгодно отличается от несколько фрагментарных, но блестящих штудий П.А. Флоренского своим доктринальным монументализмом, но в содержательном плане она интересна только как прецедент нагнетания авторитарного пафоса догматической репутации. Тот факт, что вне языка невозможно общение людей, С.Н. Булгаков принимает к сведению, но его больше занимает то обстоятельство, что без языка человек не смог бы молиться Богу. По мнению С.Н. Булгакова, язык нужен прежде всего для выражения «чувства универсальной зависимости» (по Шлейермахеру) и изъявления человеческого доверия Богу. Все остальные опции языка допускаются, но поощрять интерес к ним, пусть даже чисто теоретический, не следует, ибо это ведёт к соблазнам умствования, которые могут привести к потере внимания к внушениям, промыслительно адресованным человеческой душе в целях её спасения, а также к утрате доверия со стороны самого Бога. Именно в этом С.Н. Булгаков уличает классиков немецкой философии, укоряя и современных лингвистов в том, что они пошли пагубным путём прельщения мнимой мудростью «века сего». Булгаковская «борьба за Логос», предполагающая догматическую онтологизацию языка, оказывается «покушением с негодными средствами». Свидетельством тому является предпринятая им онтологизация одного из личных местоимений (в чём с православным богословом в дальнейшем будет солидарен и хасидский экзистенциалист М. Бубер): «Как местоимение, имеющее определённую задачу в языке, – выявлять онтологическую основу

слова, я есть онтологический жест, имеющий, однако, первостепенное принципиальное значение. В нём выявляется онтологическая реальность слова, язык нащупывает свою собственную почву, из я и через я он переходит ко всякому ты и он и т.д., зная внутренним опытом, что слова суть точки бытия, что они не нарисованы только звуками, но на самом деле звучат в мире или из мира. Я в известном смысле есть корень языка, настоящее заумное слово, в котором нет никакой идеи, никакого слова, кроме простого свидетельства бытия, его онтологический паспорт» [1, с.67]. Из рассуждения С.Н. Булгаков делает вывод о том, что надо больше доверять Богу, чаще творить молитву Иисусову, и тогда все вопросы языкознания разрешатся сами собой. С.Н. Булгаков отвергает самым решительным образом «ложное мудрование», основанное на «диалектическом фокусничестве» и «человекобожеском волюнтаризме». Окончательно укрепившись в вере, С.Н. Булгаков пришёл к интересному (но теологически-спорному) выводу о том, что София, будучи Премудростью Божией, составляет четвёртую ипостась Пресвятой Троицы. Это новаторское открытие С.Н. Булгакова до сих пор не встречает понимания в реакционных клерикальных кругах, будучи почитаемо весьма спорным частным мнением, не разделяемым большинством его коллег.

Дальнейшее развитие русской оноματοдоксии будет связано с именем А.Ф. Лосева – великого философа, эстетика, переводчика и филолога-классика. А.Ф. Лосев воспринял проблемный импульс, идущий от П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова, но воспринял его в академическом ключе. Главным теоретическим манифестом лосевской оноματοдоксии по праву считается «Философия Имени». В этом произведении А.Ф. Лосев, исходя из диалектики сущего и меона, выстраивает концепцию языка в духе радикального онтологического монизма, эссенциализма и персонализма на основе спекулятивной диалектики, выступающей у него в качестве концептуального парафраза православной догматики. Особый интерес вызывает в этой связи диалектика допредметной сущности имени, в контексте которой систематизируются все основополагающие категории современного академического языкознания. Эти

категории приобретают статус сущностных энергем, в чём сказывается влияние паламитской традиции византийского богословия. Сущее меонизируется в своём реальном ипостановлении, а меон осмысливается. А.Ф. Лосев учит: «И всё это «присутствие» возможно только потому, что человеческое имя и слово есть результат энергеми сущности; и так как меон есть ничто, не есть сущность, можно сказать менее точно, что слово о предмете и о сущности есть сам предмет и сама сущность. Точная формула была бы такова: энергема сущности, конструирующая в ином слово – в качестве цельной и полной адекватности сущности, есть сам предмет и сама сущность, и потому слово о предмете есть сам предмет. Если энергему сущности как таковую, меоном означенную, но взятую без меона, назвать умным именем, предполагая не какое-нибудь раздробленное и ослабленное явление сущности в меоне..., то возможно уже совсем точно сказать, что умное имя предмета и есть сам предмет в аспекте понятости и явленности, – независимо от того, где и когда и как он фактически понимается и является» [4, с.131]. Лосевское диалектическое учение о языке представляет собой последовательный реализм, онтологизируемый в систематическом формате. Но этот реализм предполагает наличие мифа в качестве предельной конкретизации бытия, которая в языковых фактах отражается лишь символически. Эта оговорка позволяет А.Ф. Лосеву не впасть в магизм, чего не смогли избежать его предшественники.

В поздний период своей деятельности А.Ф. Лосев догматизирует собственные теоретические основания, преподнося их в упаковке академического жаргона, избилующего сциентистскими условностями. А.Ф. Лосев прибегает к «эзопову языку», вызывая к жизни феномен «иронического марксизма». Исходя из канторовской теории множеств, А.Ф. Лосев ставит вопрос о характере аксиоматизации начал языкознания: «Аксиомы, взятые сами по себе, потому и называются аксиомами, что они не подлежат дате и определению, а, скорее, только пояснению. Тем не менее, всякая система аксиом предполагает множество всяких суждений, понятий или образов, которые уже во всяком случае нет никакого смысла

определять или доказывать, а в иных случаях такое определение или доказательство даже и невозможно» [3, с.125]. В своей теории языковых моделей он выстраивает целые семейства аксиоматик применительно к различным аспектам языковой структуры, выводя само это понятие из-под юрисдикции плана выражения и легитимируя его в онтологизме плана содержания, основанного на догматике реалистического эссенциализма. А.Ф. Лосев трактовал понятие «семейства» на уровне системы категорий лингвистически, дополняя его теоретический функционал математической абстракцией «окрестности». Лосевское понимание значимости этого понятия для лингвистической теории базируется на его интерпретации теории множеств, канторовский парадокс в которой указывает на локус «онтологического аргумента», требующего реалистической презумпции для теоретического мышления. А.Ф. Лосев учит: «кто рассматривает конкретное значение грамматической категории в определённых границах и в то же самое время находит бесконечно разнообразие значения этой категории, тот по известной теореме Больцано-Вейерштрасса должен постулировать хотя бы одну предельную точку такого множества. И вообще без понятия предела очень трудно оперировать лингвистику с бесконечным числом оттенков той или иной грамматической категории в живом языке и, тем более, в живой речи. При этом предельных точек множества может быть сколько угодно, хотя бы и бесконечное количество» [3, с.254]. С лосевской точки зрения, предельностью может обладать любой момент грамматического континуума. Язык мыслится как плотное в себе множество, обладающее признаками замкнутости и совершенства. Из сказанного становится очевидным, что реализм плана содержания на концептуальном уровне может стать предпосылкой математизации языковых структур, тогда как сама по себе структура не может быть ни осознана, ни осмыслена вне своего реального содержательного воплощения.

Если русская оноματοдоксия в своих вершинных лосевских проявлениях предполагает выраженный онтологический фундаментализм, то европейские концепции, ориентированные на план содержания, демонстрируют большую

теоретическую мобильность. Примером последней может служить Венская школа «слов и вещей». Её основоположником был Г. Шухардт, внёсший значительный вклад в исследование как региональных взаимодействий языков, так и в изучение отношения категорий пассивности и активности в языке, а также в классификацию романских диалектов. Г. Шухардт видит в самом языке органический феномен, в котором раскрываются законы роста и развития, присущие всем органическим образованиям. Этот момент в его концепции представляет собой рецидив натуралистического онтологизма, который трудно совместить и с сосюрровским антисубстанциализмом, и с тезисом о методологическом примате синхронии. Сам Шухардт, обращаясь к проблеме происхождения языка, испытывает тайную склонность к диахроническому методологическому подходу. Оппозиция моногенеза и полигенеза задаётся им в гносеологическом ключе и представляет собой вопрос о мыслимости самой проблемы на системном уровне, но вот ответ, каким бы он ни был, требует онтологического формата, коль скоро синхронически-декламированная системность оборачивается, с точки зрения Г. Шухардта, догматическим финализмом, противоречащим идее жизненного развития языка. Г. Шухардт рассуждает так: «Всякий язык образован из различных источников и даёт множество ответвлений. И если мы обратимся к отдельным языковым фактам, то обнаружим, что новообразования в языке наблюдаются и в наше время и что вместе с тем никакое новообразование не является конечным. Каждое из них, хотя бы только негативно, определяется всем, что ему предшествовало. Эти элементы составляют основу, из них ткутся языки, они определяют собой типы и системы, рассматриваемые обычно как фундамент, как канва языков» [8, с.77]. Это значит, что никакая гносеологическая концепция не может обладать привилегированным статусом, принимая во внимание органическое развитие языка как становящейся реальности. Исходя из такого воззрения, Г. Шухардт вопрошает: «Если за словом стоит вещь, за предложением – факт, то естественно задать себе вопрос: не стоит ли за языком действительность? Мы вполне согласны с этим при условии

следующего добавления: подобно тому как между вещью и словом находится представление, а между фактом и предложением - мысль, так между действительностью и языком стоит мировоззрение» [8, с.107]. Так Г. Шухардт актуализирует гумбольдтианский проблемный комплекс, сложившийся ещё в эпоху романтизма.

Заслуга развития этого проблемного комплекса в плане содержания целиком и всецело принадлежит Й.Л. Вайсгерберу, названному современниками «апостолом родного языка». Именно в его теории примат плана содержания выдерживается в наиболее последовательном и строгом виде. Исходя из гумбольдтианского представления о языке как надличностной действительности, придающей действительности её образ, Й.Л. Вайсгербер обращается к принципу внутренней формы слова как гаранта духовной идентичности, раскрываемой в картине мире, формируемой родным языком. Характеризуя воззрения великого немецкого лингвиста, О.А. Радченко пишет: «Картина мира, представленная в родном языке, воспринимается его носителем как нечто естественное, хотя в действительности она есть уникальное достижение родного языка. Однако в результате в человеке формируется примечательная черта – языковой реализм» [5, с.155]. В концепции Й.Л. Вайсгербера теория языкового реализма достигает своего канонического завершения, оформляясь в доктрину лингвистического детерминизма. Она предполагает бессознательное органическое прорастание человеческого мышления в уже существующей ткани языковых значений, из чего следует, что любая гносеология вторична по отношению к тому языку, в границах которого она была сформирована. Й.Л. Вайсгербер утверждает: «созидание языкового понятийного мира по всему своему происхождению вовсе не может быть осознано его носителем, человеком, в своих деталях и условиях. Ведь мы изучаем большую часть «содержания слов» неосознанно, тем более не благодаря дефиниции; наоборот, то и является чудеснейшей возможностью языка, что под его влиянием это знание вырастает неосознанно, что он позволяет человеку объединить весь свой опыт в единую картину мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до того

как он изучил язык, он воспринимал окружающий мир. Это объясняет, почему человек практически ежесекундно работая со своим языковым запасом, почти не осознаёт существующие возможности языка» [2, с.51]. Й.Л. Вайсгербер в ранний период своей деятельности стремился обосновать свой тезис эмпирически, прибегая к экспериментальным исследованиям психофизиологических дисфункций речевого центра. Впоследствии им была проделана колоссальная работа по реконструкции немецкоязычной картины мира в её историческом развитии. К его «грамматике, ориентированной на содержание» примыкал также и Й. Трир, разработавший метод моделирования лексико-грамматических полей в языкознании, нашедший признание, в том числе, и в советском языкознании. Это нельзя сказать о неогумбольдтианской концепции Вайсгербера в целом: советские лингвисты её решительно отвергали, усматривая в ней идеалистический субъективизм, релятивистский агностицизм и мистический национализм. Учёный и его последователи в ФРГ подвергались нападкам со стороны сикофантов из числа прогрессивной демократической общественности, стремившейся уничтожить немецкую научную школу и насадить идеологически-модный американский генеративизм.

В истории американской лингвистической мысли, однако, помимо генеративизма существовали и иные концепции, ориентированные не на план выражения, а на план содержания, которые в своих конечных выводах были мировоззренчески созвучны немецкому неогумбольдтианству. Этот прецедент тем более значим, что представители этого направления в американском языкознании пришли к аналогичным выводам вполне самостоятельно, не апеллируя ни к романтизму, ни к европейской научной традиции. Речь идёт, прежде всего, о представителях американской этнолингвистики – Э. Сепире и Б. Уорфе, сформулировавшими эпохальную гипотезу лингвистической относительности, в соответствии с которой следует признать, что язык определяет характер категориальных обобщений, которые люди стремятся воплотить в действительность посредством своего практического отношения к миру. Б. Уорф утверждает: «Мы должны признать влияние

языка на различные виды деятельности людей не столько в особых случаях употребления языка, сколько в его постоянно действующих общих законах и в повседневной оценке им тех или иных явлений» [9, с.158]. В сущности, речь идёт о том, что язык формирует жизненный мир и содержательно предвосхищает характер специфически-человеческих оценок действительности. Э. Сепир, в свою очередь, указывает на язык как на содержательный фактор в жизни любой духовно-исторической общности: «язык обладает определёнными психологическими качествами, делающими его изучение особенно важным для исследований в области социальных наук. Во-первых, язык воспринимается как совершенная символическая система, использующая абсолютно однородные средства для обозначения любых объектов и передачи любых значений, на которые способна данная культура, независимо от того, реализуются ли эти средства в форме реальных сообщений или же в форме такого идеального субститута сообщения, как мышление. Содержание всякой культуры может быть выражено с помощью её языка...» [6, с.226]. Второй чертой, определяющей существо языка, согласно Э. Сепиру, является тот факт, что он не находится вне человеческого опыта, а переплетается с ним, психологически оптимизируя человеческое отношение к этому опыту. Функция языка, таким образом, состоит в символизации эмпирических данностей, относящихся к человеческому жизненному миру. Этот вывод вполне соответствует духу и букве лингвистики, ориентированной на план содержания.

Рецессия концепций, ориентированных на план содержания, характеризует общемировоззренческую ситуацию XX века. Теоретические следствия из этих доктрин либо отрицаются, либо игнорируются, либо переводятся в разряд гипотез, доказательства для которых должны прийти из опыта или со стороны каких угодно позитивных наук. Большинство лингвистов ограничены своей узкой дисциплинарной специализацией, чтобы принять план содержания в качестве горизонта собственного теоретического обобщения. Это обстоятельство и сделало рецессию рассмотренных концепций неотменяемым фактом в истории науки.

Список использованной литературы

1. Булгаков С.Н. Философия Имени. – М.: КаИр, 1997. – 330с.
2. Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 224с.
3. Лосев А.Ф. Введение в общую теорию языковых моделей. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 296с.
4. Лосев А.Ф. Из ранних произведений. – М.: Правда, 1990. – 656с.
5. Радченко О.А. Язык как мирозидание: лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 312с.
6. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 656с.
7. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Том 2. – М.: Правда, 1990. – 448с.
8. Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 296с.
9. Языки как образ мира. – М. – СПб.: АСТ-Terra Fantastica, 2003. – 568с.

4. ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СИНТЕЗА В ЯЗЫКОЗНАНИИ XX ВЕКА

Теоретический конфликт между концепциями, ориентированными на план выражения и план содержания, является источником динамизма в развитии лингвистических учений в XX веке. Все теоретические решения так или иначе оказываются изначально заданными в гносеологическом отношении теми нормативами, которые ориентируют лингвистическую мысль на следование тому или иному плановому приоритету. Всякая методология оказывается способом подтверждения предварительно принятого воззрения на язык. Именно поэтому роль «философии языка» в истории языкознания невелика: философские концепции только санкционируют с тех или иных позиций те резолютивные комплексы, что возникли в условиях примата либо плана выражения, либо плана содержания. Приобщение этих мировоззренческих санкций к истории языкознания ничего не добавляет к резолютивным концептуальным комплексам, имеющим свою собственную внутреннюю логику, не имеющую ничего общего с устремлениями философов. Поэтому можно без особого преувеличения признать, что независимость лингвистики от философских доктрин является показателем её теоретической зрелости и развитости. Гораздо интереснее проследить обратное влияние. Лингвистика открывает философам такие истины, к которым они, опираясь на свои метафизические представления, никогда не смогли бы прийти. От лингвистики философская рефлексия получает мощные идейные импульсы, отзывающиеся в разных областях философского знания значимыми инспиративными новообразованиями. На это, в частности, указывает О. Розеншток-Хюсси: «Грамматический метод – это путь, на котором человек осознаёт своё место в истории (позади), мире (вовне), обществе (внутри) и судьбе (впереди). Грамматический метод дополняет и развивает, таким образом, саму речь, ибо, хотя речь и задала человеку направление и на века ориентировала его в том, что касается его места во вселенной, сегодня требуется дополнительное осознание этой

направляющей и ориентирующей силы. Грамматика – как логика есть самосознание мышления» [12, с.21]. По мнению О. Розенштока-Хюсси, именно грамматика позволяет выявить глубинные априорные предпосылки во всех областях знания – от теологии до физики.

Понимание роли языка в развитии человеческого самосознания начинает постепенно определять и представление о дисциплинарных приоритетах, значимых для науки о языке. Подтверждением тому может служить лингвистическое наследие И.Е. Аничкова – выдающегося, но в полной мере недооценённого советского учёного, стоявшего у истоков создания новой особой языковедческой дисциплины – идиоматики. Согласно его воззрениям, каждый язык обладает своим уникальным укладом, отвечающим мировоззренческим доминантам коллективного опыта представителей данного языкового сообщества. В идиоматике языка раскрывается глубинная диалектика общечеловеческого и национального, исторического и актуального, системного и новационного факторов, придающих значение человеческой речи. С позиций идиоматики язык трактуется как инстанция экзопсихической памяти, на что указывает такое рассуждение И.Е. Аничкова: «Язык в одно из аспектов его – общественная память. Наряду с обычаем язык – хранилище общественного опыта и самый общественный опыт в некоторой части его, как индивидуальная память, вместе с индивидуальными навыками – хранилище индивидуального опыта и, частично, самый индивидуальный опыт» [3, с.148]. Идиоматика актуализирует и переводит в план реального отношения к миру то, чем потенциально располагает язык в качестве обобществлённой экзопсихической памяти. Из сказанного становится понятным, что отношение между нормой и узусом не должны трактоваться абстрактно, поскольку сами они представляют меру конкретизации социального контекста в акте высказывания. Концепция идиоматики И.Е. Аничкова позволяет, таким образом, уйти от жесткого абстрактно-логического противопоставления парадигматики и синтагматики, которое стало «общим местом» в постсоссюровском языкознании. Этот вопрос представлялся чрезвычайно важным

для В.Г. Адмони, занимавшего проблемой исторического синтаксиса: «Отношение явлений языка и явлений речи не есть отношение готовых, сложившихся, отработанных, явлений складывающихся, становящихся в момент речевой коммуникации, как это часто утверждается, причём в своём крайнем и наиболее последовательном выражении приводит к исключению предложения из сферы языка. Это отношение есть отношение всей суммы тенденций и потенций, свойственных всем грамматическим явлениям всех видов, но всей сумме реализаций этих тенденций и потенций в речевой коммуникации. Ничего нет в языке, чего не было в речи. Ничего нет в речи, чего не было в языке. Но язык и речь всё же отнюдь не совпадают» [1, с.34]. По мнению В.Г. Адмони, анализ полевых эффектов, позволяющий поставить вопрос о мере и характере реализации потенциальных структур, даёт возможность увидеть суть проблемы нетривиально, во всей её полноте.

Стремление к концептуальному синтезу, восстанавливающему единство лингвистической теории путём преодоления жёсткого методологического антагонизма между планом выражения и планом содержания, обнаруживается у немногих, но замечательных умов в лингвистике XX века. К их числу, вне всякого сомнения, принадлежит основоположник концепции «лингвистического ментализма», великий французский лингвист Г. Гийом, чьё наследие получило на родине признание только после того как было заново открыто канадскими франкоязычными лингвистами. Суть воззрений Г. Гийома, выдвинувшего гипотезу «психомеханики языка», состоит в разведении «единиц потенции» и «единиц реализации» на основе концептуальной модели психофизического дуализма, которое в акте своего коммуникативного полагания позволяет увидеть язык как «систему систем». Именно эта мысль Г. Гийома восполняет теоретический хиатус в сосюровском анализе языка. На место сосюровского «закона экономии речевых усилий» Гийом ставит психосемиологический закон «достаточного выражения», позволяющий охарактеризовать коммуникативную динамику интериоризации и экстериоризации значений в языке. Г. Гийом учит: «Язык представляет собой системное целое, охватывающее всю протяжённость мыслимого и состоящее из

систем, каждая из которых относится только к одной конкретной части мыслимого. Эти частные системы имеют естественную тенденцию к индивидуализации и к созданию целого, выступающего составной частью общего и более широкого целого, каковым и является язык... Антиномия языкового построения состоит в том, что язык предполагает подчинение противоположным целям. Например, чтобы фраза получила смысл, надо чтобы различались слова и в то же время чтобы на какой-то короткий момент их различимость стиралась» [5, с.106]. Так великий французский лингвист закладывает основу для понимания языка как «системы систем». Далее он показывает, как актуализируется принцип оппозиционного дуализма: «Представляемое – это речь, составляющие её акты выражения, каждый из которых по завершении называется единицей реализации» [5, с.91]. На этой основе возникает минималистская программа преодоления гносеологического антагонизма между планом выражения и планом содержания. Её существо заключено в следующей гийомовской формуле: «Свойство языка – состоять из устоявшегося, свойство речи состоять из неустоявшегося. Со стороны речи утверждается свобода, противоположная установлению; со стороны языка – несвобода, соответствующая установлению» [5, с.92]. В сущности, Г. Гийом разрешил многовековой платоновский спор. Характеризуя этот итог, Е.А. Реферовская указывает, что у Г. Гийома «следуя творящей мысли, язык получает кинетический характер, передавая не фотографическое, неподвижное, а кинематографическое, оперативное, движущееся изображение мысли» [11, с.121]. Итак, актуализация системности в минималистской программе «лингвистического ментализма» Г. Гийома вызывает к жизни понятие о факторе «оперативного времени» в коммуникативном процессе. В этом концептуальном фокусе преодолевается гносеологический антагонизм плана выражения и плана содержания. В методологическом позиционировании этого фокуса в материале лингвистического исследования и состоит суть минималистской программы концептуального синтеза двух планов, призванной вернуть лингвистике её гносеологическое единство.

Если минималистская программа призвана разрешить гносеологический антагонизм со стороны плана выражения, то альтернативный проект делает это со стороны плана содержания. Самым интересным прецедентом подобного хода мысли является максималистская программа К. Бюлера, строящаяся вокруг концептуальной реконструкции репрезентативной функции языка. Если построение гийомовской программы-минимум требовало планомерного сокращения внелингвистических концептуальных новообразований с неясной понятийно-мировоззренческой этиологией, то бюлеровская программа-максимум включает в себя апелляцию к идеям Аристотеля, Лейбница, Рассела, Гуссерля и Гильберта, а также мощный психологический фундамент Вюрцбургской школы, у истоков которой стоял сам К. Бюлер. Принимаясь за построение содержательной аксиоматики языка, К. Бюлер признавал: «Это предприятие ново по своей форме; но идейное содержание этих положений, напротив, ни в коей мере не ново и по природе вещей не может быть новым» [4, с.27]. Бюлеровская аксиоматика выявляет принципы, конституирующие радикальный индуктивизм исследовательских программ в языкознании. Первым аксиоматическим представителем является модель языка как органа, в которой актуализируется принцип абстрактивной релевантности функционального ансамбля, образующего языковой знак: «Это символ в своей соотнесённости с предметами и положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и сигнал в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки» [4, с.34]. Второй фазой аксиоматизации является выявление континуально-сохраняющихся признаков знакового бытования структурной модели языка. В ней обнаруживается оппозиция «ступенчатости» и «слоистости», открытая Н. Гартманом в его критической онтологии, что неявно свидетельствует в пользу онтологизма бюлеровского понимания языка, принятого у адептов плана содержания: «мы бы выявили не просто ступени строительства (ступени производства) звука;

параллель со строительством из кирпичиков была бы ложной. С психофизической же точки зрения это гораздо более тонко взаимосвязанные области формирования...» [4, с.39]. Третий уровень бюлеровской аксиоматики относится к противопоставлению речевого действия и языкового произведения речевого акта и языковой структуры, где формируется схематизм «четырёх полей». Необходимость их дифференциации К. Бюлер считает обусловленной следующим обстоятельством: «В принципе творец языкового произведения говорит иначе, чем практически действующий человек. Существуют ситуации, в которых с помощью речи решается актуальная в данный момент жизненная задача, то есть осуществляются речевые действия. Но есть и другие обстоятельства, когда мы в поисках адекватного языкового выражения творчески работаем над данным материалом и создаём языковое произведение» [4, с.54]. Последнее, согласно К. Бюлеру, стремится к независимости от факторов своего свершившегося генезиса. На четвёртом уровне аксиоматики выявляются различия между словом и предложением, которое закладывается в основу понятия о языке как носителя неких постоянных сущностных признаков. К. Бюлер замечает: «Помоему, целесообразно отделить язык от других систем эффективных коммуникативных знаков и объяснить различие между системами без символического поля и с символическим полем» [4, с.67]. Репрезентативная функция исполнима в той мере, в какой она аксиоматизируема на всех четырёх уровнях. Приняв теорию репрезентативной функции за осевую структуру лингвистической мысли, можно показать как пределы психологической детализации языка, так и надситуативные лимиты понятийного опосредствования, востребованные по общефилософским показаниям. Бюлеровская программа-максимум характеризуется малой эпистемической мобильностью с точки зрения нужд и запросов лингвистики в предметном плане, но её перспектива, требующая последовательного воплощения в материале, представляется в общенаучном плане более многообещающей, чем решения, уже предложенные минимализмом.

Лингвистика так и не сделала выбор между минимализмом Гийома и максимализмом Бюлера, а потому обе программы разрешения гносеологического антагонизма между планом выражения и планом содержания так и остались проектами. Причиной тому стала беспрецедентная по меркам всей человеческой истории идеологизация самого языка, практически осуществлявшаяся великими тоталитарными лжеучениями прошлого века, вызвавшими к жизни феномен обобществившегося, то есть тотального двоемыслия, о котором писал Дж. Оруэлл. Такое двоемыслие нуждается в специально сконструированном языке, функциональная оптимизация которого заточена исключительно на идеологические манипуляции. Дж. Оруэлл назвал его «новоязом», представляющим собой операциональную систему, осуществляющую цензурный регламент на уровне самых языковых предпосылок коммуникации. В своей антиутопии Дж. Оруэлл писал: «Новояз должен был не только обеспечить знаковыми средствами мировоззрение и мыслительную деятельность приверженцев англосоца, но и сделать невозможными любые иные течения мысли. Предполагалось, что, когда новояз утвердится навеки, а старояз будет забыт, неортодоксальная, то есть чуждая англосоцу мысль, поскольку она выражается в словах, станет буквально невысказанной. Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсесть все остальные значения равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений – по возможности от всех побочных значений ... Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму» [8, с.267]. Оруэлловский антиутопический фантазм состоялся в двух своих классических идеологических редакциях – на почве советского большевизма и немецкого национал-социализма. Собственно говоря, новояз большевиков и стал исходной моделью. Он изобиливал

устрашающими аббревиатурами, выражающими технизацию жизни в целом. Нацистская версия исходила из романтического культа органики и изобиловала риторически-оценочными сращениями. Примечательно, что после крушения великих тоталитарных утопий инициативу по культивированию структур, функционально ориентированных на норматив утопического новояза, приняли адепты демократического плюрализма. Однако их усилия ограничились внедрением в узус живых языков наднационального «жаргона политкорректности», включающего в себя перечень эвфемизмов, рекомендованных к публичному озвучиванию. Блистательную критику этого прогрессистского псевдогуманистического новояза предложил У. Эко.

Классические версии новояза, предложенные большевиками и нацистами предполагали экспансию даже в область художественной литературы. Классическим примером тому может служить «телеграфный стиль» поэзии В.В. Маяковского. Большевицкий новояз минималистичен и ориентирован на технизацию общения, в котором больше нет места рефлексии. Нацистский новояз больше ориентирован на магическую практику, а потому в нём доминирует органицистская романтизация коннотаций, восходящих к освящённой традиции архаике. Исследователь ЛТИ, «языка Третьей Империи», В. Клемперер указывает, в частности, на метаморфозы вполне невинного глагола «заводить»: «во всех этих случаях речь идёт о механической деятельности, которая совершается с неживым объектом, не оказывающим сопротивления. От заводной игрушки, от вращающейся юлы, двигающегося и качающего головой игрушечного зверька – прямая дорога к метафорическому использованию этого выражения: я «завожу» человека. Это значит, что я дразню его, выставляю в смешном виде, делаю из него шута горохового. Здесь подтверждается теория комического, которую предложил Бергсон: комизм связан с автоматизацией живого» [6, с.65]. Невинный глагол становится в нацистском словоупотреблении носителем миропонимания, распространяемого индивидами, не обладающими органической укоренённостью в традиции.

Нацистское языкознание, вставшее на путь сознательного мифотворчества, питает особое пристрастие к органицизму, народности и архаике, которые выражают истоки таинственного расового мироощущения. Так, например, Г. Шмидт-Рор, предложивший националистическую версию прочтения гумбольдтианского наследия, считал: «Врождены лишь задатки способности мыслить, а развивается и вносится в человеческие формы это мышление лишь языком. Определённый национальный язык создаст вполне определённый образ мышления, отличный от образа мышления других народов» [10, с.134]. В соответствии с этой точкой зрения каждый язык латентно заключает в себе определяющий ракурс воззрения на мир, соответствующий характеру интересов народа, вытекающему из расового темперамента, выражающего общее чувство жизни. Эти представления получают отражения в нацистском языкознании.

В советском языкознании источником псевдонаучного мифотворчества стала «теория единого глоттогонического процесса», автором которой был специалист в области кавказского языкознания Н.Я. Марр. «Яфетическая теория» Н.Я. Марра, насаждаемая его приспешниками, представляла собой версию идеологизированного псевдонаучного официоза, жертвами которой стали крупнейшие советские лингвисты, выступившие с критикой этих идей. Согласно учению Н.Я. Марра, все языки возникли в результате комбинаторного смещения, или «скрещивания» их исходных элементов. В этом плане марризм поразительно напоминает «лысенковщину» в биологии. Таких элементов, согласно марристскому вероучению, всего четыре: «сол», «бер», «йон» и «рош». Из их сочетания возникли все известные языки. Марристы отрицали генетическое родство языков, сделав предметом своей особой ненависти компаративизм и индоевропейское языкознание. Наряду с пресловутым «компонентным анализом», представлявшим собой комбинаторные манипуляции с элементами, марристы отстаивали и так называемую «стадиальную гипотезу», согласно которой стадии развития языков соответствуют логике смены

общественно-экономических формаций, как тому учит исторический материализм. Классовая интерпретация языка, предполагавшая рассмотрение языковых изменений с позиций учения о классовой борьбе, стала шедевром идеологического извращения самих основ науки о языке. Решающий вклад в борьбу с марризмом внесли советские языковеды Б.А. Серебренников и А.С. Чикобава, показавшие его полную научную несостоятельность, однако все лавры сокрушителя лжеучения достались И.В. Сталину, написавшему труд «Марксизм и вопросы языкознания», после публикации которого марризм обратился в ничто. Адепты марризма впоследствии пытались предстать в мученических венцах «жертв сталинизма» и взывать к прогрессивной интеллигенции, но были осмеяны и забыты. Подводя итог позорному направлению лженаучного языкознания, В.М. Алпатов делает совершенно однозначный и справедливый вывод: «Марризм реабилитации не подлежит» [2, с.220]. Вместе с марризмом должны уйти в заслуженное небытие и основанные на нём и близкие ему формы псевдогуманитарного лженаучного мифотворчества.

Следует отметить важный вклад, внесённый Б.А. Серебренниковым в отечественное языкознание не только в связи с критикой марризма, но и по линии возрождения научного подхода к проблеме компаративистики. Его несомненным достижением является труд, посвящённый вероятностным обоснованиям в компаративистике. Б.А. Серебренников писал: «Вероятностные исследования применяются обычно в тех случаях, когда сам ход исторического процесса не является очевидным для исследователя, который видит только конечный результат этого процесса, но знание определённых закономерностей позволяет ему гипотетически предполагать характер и направленность этого процесса. Поэтому совершенно очевидно, что всякое вероятностное обоснование может базироваться только на знании определённых закономерностей. Без закономерностей нет вероятностного обоснования» [13, с.27]. Введённое Б.А. Серебренниковым понятие «фреквенталии» стало ценной методологической новацией, заслуживающей того, чтобы

быть применимой не только в компаративистских исследованиях, но и во всех случаях, где в методологии оказываются востребованными процедуры индуктивного обобщения, без которых невозможно насыщение исследования фактографическим материалом. Наряду с этим подходом следует обратить внимание и на признание критериальной значимости закона достаточного основания в лингвистическом исследовании, совершённое В.З. Панфиловым при рассмотрении теоретико-познавательного вопроса о соотношении языка и мышления: «В объективном мире всё существует на каком-то основании, каждое явление выступает как звено в причинно-следственной цепи и обусловлено в своём существовании чем-то другим. Это свойство бытия находит своё отражение в сфере мышления и в так называемом законе достаточного основания. Согласно этому закону, чтобы наша мысль была истинной, она должна отдавать себе отчёт в предметной обусловленности её, иначе говоря, наша мысль не должна останавливаться на её существовании и определённости, но идти к своему основанию» [9, с.95]. Итак, выйдя из мифотворческой фазы, отечественное языкознание обратилось к детерминистским и эссенциалистским принципам, зарекомендовавшим себя с лучшей стороны в истории науки. Как справедливо отметил Г.В. Колшанский, «на этом уровне и вырастает проблема истинности или ложности человеческого познания, которая подвергается проверке как в аспекте чисто мыслительной интерпретации, так и в аспекте материального эксперимента и практической деятельности» [7, с.50]. Построение лингвистических концепций, таким образом, не является праздным самовыражением лингвистов в культуре, а представляет собой научный поиск, требующий интеллектуальной мобилизации, гносеологической компетентности и методологического мастерства.

Будучи константой жизненного мира человека, язык не может быть рассмотрен вне мировоззренческих установок, имеющих вполне человеческое происхождение. Вот почему Е.С. Кубрякова замечает: «В лингвистике антропоцентрический принцип связан с попыткой рассмотреть языковые явления в

диаде «язык и человек», но из-за возможных различий в подходе он фактически принимает в разных школах нетождественные формы» [14, с.213]. Нужно отдать должное этому наблюдению, признав в наличии «нетождественных форм» указание на отражение не только мировоззренческого плюрализма, но и призыв к поиску концептуального единства, способного обеспечить лингвистической мысли гарантированное и плодотворное научное развитие.

Список использованной литературы

1. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 104с.
2. Алпатов В.М. История одного мифа. Марр и марризм. – М.: Наука, 1991. – 240с.
3. Аничков И.Е. Труды по языкознанию. – СПб.: Наука, 1997. – 511с.
4. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка. – М.: Прогресс, 1993. – 528с.
5. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. – М.: Прогресс, 1992. – 224с.
6. Клемперер В. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 384с.
7. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: КомКнига, 2006. – 182с.
8. Оруэлл Дж. 1984 (роман). Скотный двор (сказка-аллегория). – М.: АСТ-Хранитель, 2007. – 361с.
9. Панфилов В.З. Взаимоотношение языка и мышления. – М.: Наука, 1971. – 232с.
10. Радченко О.А. Язык как мирозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 312с.
11. Реферовская Е.А. Философия лингвистики Густава Гийома. Курс лекций по языкознанию. – СПб.: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997. – 126с.

12. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. – М.: Лабиринт, 1994. – 224с.
13. Серебренников Б.А. Вероятностные обоснования в компаративистике. – М.: КомКнига, 2005. – 376с.
14. Язык и наука конца 20 века: Сборник статей. – М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995. – 432с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лингвистические учения XX века возникли в условиях теоретического кризиса установок позитивистского языкознания предшествующего столетия, на протяжении которого лингвистическая мысль была поставлена перед альтернативой – либо стать иллюстрацией к той или метафизической доктрине, либо встать на последовательный путь естественнонаучного развития. Начиная с XX века, лингвистика отвергает эту дилемму, позиционируя себя в составе гуманитарного знания и вынося за пределы круга своих интересов вопросы метафизического порядка.

После пересмотра позитивистской иерархии лингвистических дисциплин, осуществлённого эстетическим идеализмом, Соссюр обосновывает системность в языке и автономию лингвистики как науки. Окончательный переход в лингвистике модерна осуществляется в рамках функционального синтаксиса и на пути построения научной фонологии под знаком примата синхронии.

Современная лингвистика складывается на фоне гносеологического антагонизма концепций, ориентированных на план выражения (доминантные) и на план содержания (рецессивные).

Формой примирения выступают минималистская и максималистская концепция, которым препятствует осуществить свою миссию тенденция к идеологизации языка. Преодоление последней открывает возможность критического прочтения истории лингвистики и отрефлексированного отношения к её достижениям.

Учебное издание

Огнев Александр Николаевич

**ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
ЛИНГВИСТИКИ**

Часть II. Лингвистические учения XX века

Учебное пособие

В авторской редакции
Корректор А.И. Демина

Подписано в печать 14.02.2017. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать оперативная. Печ. л. 3,5.
Тираж 500 экз. Заказ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П. КОРОЛЕВА»
(Самарский университет)**

443086 Самара, Московское шоссе, 34.

Изд-во Самарского университета.
443086 Самара, Московское шоссе, 34.